

ные замки! Этого обычно не замечаешь, а все же удерживать повязку на глазах и зажимать уши, когда вокруг бушует гроза и сама очевидность грохочет: «Все это ложь, фальшивка — да взгляни же, глупец!» — требует подчас невероятных усилий. И тут я действительно берегаю силы: ведь я мог бы еще не год и не два бродить по кругу, зажимая уши и замуривая глаза (надо же было так мучиться!), не умея смириться с тем, что вещи, так бестолково разложенные мною по полкам, то и дело валяются вниз.

Хватит уже кружится на карусели! Тот, кто видит заколдованный круг, уже вырвался из него. Конечно, если хочешь платить, можешь вертеться хоть до бесконечности: это твое право, даже твой долг. Да что там, есть о чем толковать, мне любой скажет: долг это или право — каждый понимает по-своему. Но я так устал от всех этих прав, которые еще и обязанности, от обязанностей, которые в то же время права; с тех пор как я перестал ставить себя выше других, мне они попросту ни к чему. В конце концов, для того, кто лучше других, естественно получать за это скромное вознаграждение (вот оно, «право»): ведь он «платит», он исполняет свой долг, к вящей славе математики и вообще человеческого разума — и это хорошо, это справедливо; честь, разум, математика, лучше не скажешь, браво!.. бис!.. Все это прекрасно, согласен, но и утомительно; от этого, представьте, костенеет шея. Я уже отмучился, с меня довольно: уступаю место другим.

Возвращаясь к моим ученикам — они и должны были превзойти своего учителя. Я возмущался, так что же: значит, впустую тратить силы мне было не жаль. С этого дня — довольно.

Какой груз с плеч!

42. Пожалуй, я даже уверен в том, что без пыли в темных углах не обошлось: что-то я, наверное, все-таки упустил, где-то не прошелся метлой. Не беда, если так: будет время, доберусь и до этих неясных мест — да они, верно, и сами дадут о себе знать. Но «размышления о прошлом математика» как таковые подходят к концу: генеральная уборка, без сомнения, завершена.

Сейчас, лишний раз убедившись в том, что я не лучше других, хорошо бы не запутаться в бесконечной цепочке: не счесть себя *лучше себя самого*. Не вообразить, что *теперь*, когда я добровольно сошел с карусели, и прочая, и прочая, я стал лучше, чем был пятнадцать лет, или дней, тому. Чему-то я научился за прошедшие пятнадцать лет, это верно; за последние пятнадцать дней тоже — и даже вчера я уже успел

кое-что о себе узнать. Это значит, что у меня прибавилось зрелости, что я изменился. Но спелый плод не «лучше» зеленого. Времена года не бывают лучше или хуже. Зрелый плод одному покажется слаще, другому — горше зеленого; о вкусах не спорят. Сам я год от года чувствую себя все лучше и лучше — надо думать, происходящие со мной перемены мне «по вкусу»; зато мои друзья и близкие от них не в восторге. Всякий раз, когда я снова берусь за математику, на меня со всех сторон сыплются поздравления типа: «Подумать только, а он еще занимался чем-то другим! Наконец-то он взялся за ум — давно бы так!» Какой-то тревогой, неустроенностью всегда веет от перемен...

Я учусь, набираюсь зрелости, я меняюсь — да так, что подчас с трудом узнаю себя в человеке, о котором мне говорят посторонние люди или же мои собственные воспоминания. Я меняюсь, но что-то во мне остается прежним. Это «что-то» было всегда — с той минуты, когда я появился на свет, а может быть, и раньше. Мне кажется, несколько лет назад я узнал его при встрече — и не ошибся. Я называю его «ребенком». По этому признаку я не лучше и не хуже себя прежнего: ребенок всегда жил во мне, даже если зачастую бывало непросто угадать его присутствие в потемках души. И в том же смысле я не лучше и не хуже любого другого человека на свете. Есть люди, в которых за сто шагов узнаешь ребенка; у каждого бывают минуты, когда его голос в душе слышней. Открытое, ясно осязаемое присутствие ребенка в человеке всегда благотворно. Но это не значит, что человек в такие минуты бывает «лучше» своего ближнего — или себя самого.

Когда я занимаюсь математикой или любовью, или погружаюсь в медитацию, радуется во мне зачастую именно ребенок. Не всегда он один. Но когда его нет на месте, не может быть ни математики, ни любви, ни медитации. Сделать вид, что я все-таки занимаюсь — труд небольшой; но и радости в подобной комедии тоже немного.

Там, внутри, конечно, не только ребенок. Там еще «я», «хозяин», или «большой начальник», называй как знаешь. Без него не обойдешься: во главе предприятия должен стоять хозяин. И с другой стороны — коли есть на свете хозяин, должен же он на что-то годиться. Вот он и следит за хозяйством и, как водится, порою бывает весьма назойлив. Страшно сказать, до чего он принимает себя всерьез и как он выбивается из сил, стараясь быть лучше соседа напротив. Впрочем, сколько бы он ни суетился, он всего лишь хозяин, а не работник. Он организует, распоряжается и, конечно, заведует кассой! Он учитывает прибыль как должное, зато каждый убыток переживает как личное оскорбление. Но он ничего

не создает. Создать что-либо может только работник — то есть не кто иной, как ребенок.

Нечасто встретишь предприятие, в котором хозяин и работник ладят между собой. Как правило, от работника, забившегося Бог весть в какой угол, не видно и следов. А хозяин притворяется мастером; о результатах нетрудно догадаться. И нередко, когда работник в самом деле там, на месте, хозяин объявляет ему войну. Будь то драка не на жизнь, а на смерть, сведется ли дело к коротким перепалкам — все равно, от такой мастерской доход невелик! Бывает, что хозяин кое-как, недоверчиво, терпит работника, ворчит себе под нос и не спускает с него глаз ни на минуту. Это та же война, только перемирие в ней возобновляется без конца. Однако, благодаря затишью работнику все же кое-что удается.

Конечно, нельзя поручиться, что мое «собственническое» отношение к математике растаяло в воздухе, как по волшебству, стоило медитации к нему притронуться. Для этого мне по меньшей мере следовало бы поразмыслить более обстоятельно о том, как оно проявлялось в моей жизни. Ведь я успел лишь упомянуть его в разговоре, не останавливаясь на подробностях. Но мое «введение», уже ставшее «вводной главой», и так затянулось — в нем нет места такому тщательному разбору. А все-таки что-то внезапно осенило меня этой ночью: вдруг, в какой-то «вспышке», ко мне вернулось одно воспоминание двух-трехлетней давности. И сейчас мне хотелось бы ненадолго на нем задержаться.

В ту пору я увлеченно работал над чем-то из области математики — сейчас уже не берусь сказать толком, что это был за вопрос. По ходу дела как-то выяснилось (не помню, как именно), что вопрос этот, возможно, кем-то уже рассматривался, и результаты, наверное, можно найти в книжке; оставалось лишь справиться об этом в библиотеке. Кажется, ничего особенного, такое случается. Однако, чуть только я это обнаружил, со мной произошло нечто поразительное: мой интерес к этому вопросу, еще накануне живой и пылкий, вдруг пропал, будто и не бывало. То, над чем я размышлял не одну неделю, над чем был готов, не считая дней, работать и дальше, для меня в одно мгновение перестало существовать! Что это было — досада, раздражение? Нет: просто внезапное и полное отсутствие интереса. Окажись тогда эта книга у меня под рукой, я и не раскрыл бы ее.

Мои подозрения, однако, не подтвердились: этот вопрос до меня еще не рассматривался. Едва я узнал об этом, интерес вернулся ко мне, и я продолжал работать, как ни в чем не бывало. Правда, столь резкие перепады настроения все же несколько сбивали меня с толку. Разумеется,

будь мне в самом деле *нужен* ответ на этот вопрос для того, чтобы еще где-нибудь его *применить*, все было бы иначе. Мне не раз доводилось переделывать заново уже известные вещи: о том, что эти вопросы уже решены, я знал или догадывался, но меня это совершенно не беспокоило. Мне было важно «срезать» на дороге, и тогда, чем рыться в книгах или журналах, оказывалось разумнее (а главное, гораздо интереснее) сделать все по-своему, описать вещи в том порядке, в каком они попадались мне на пути. Это я и делал — «на бегу», не сбавляя шага, ведь моя цель была далеко впереди. И, разумеется, я достаточно разбирался в ситуации, чтобы знать наверное: того, что ждет меня в конце пути, еще нет ни в статьях, ни в книгах.

Это лишний раз наводит на мысль о том, что математика, даже если годами заниматься ею в одиночестве, — труд *не личный*, *не индивидуальный*, в отличие, скажем, от медитации. По крайней мере, для меня это так. Когда «неизвестное» в математике влечет меня за собой, оно должно быть неизвестно *всем*, а не мне одному. Если что-то написано в книге, оно уже известно, даже если я о нем никогда не слышал. У меня никогда не возникало желания прочесть ту или иную книжку или статью: наоборот, я, если только мог, всегда старался этого избежать. В печатном тексте не кроется тайны; его содержание могло вызвать у меня практический интерес, но настоящее влечение — никогда. Это всего лишь интерес, приуроченный к случаю, интерес к *информации*, которая может оказаться полезной. Это — инструмент в достижении желанной цели, подспорье в страсти, но отнюдь не ее предмет.

Взвесив все обстоятельства, я не думаю, чтобы в этой истории как-нибудь проявилось мое ревнивое, собственническое отношение к математике: разочарованное тщеславие, мне кажется, здесь ни при чем. Я не ощутил тогда ни досады, ни разочарования — просто желание узнать и понять, такое сильное за миг до того, внезапно меня покинуло. Ведь это были времена, когда я совершенно не собирался ничего публиковать, и даже не думал, что это еще когда-нибудь может прийти мне в голову. Я работал тогда не из тщеславия — то есть жадного стремления накопить побольше статей, ссылок и титулов, не ради общественного признания. Меня влекло вперед горячее желание, страсть ребенка, поглощенного игрой. И вдруг, в одно мгновение, ничего этого не стало! Разбирайтесь, кто может, а я опускаю руки... Увы — этого мне не понять.

43. Внутреннее убеждение говорит мне, что я, наконец, завершил обзор своей жизни как математика. Конечно, темы я не исчерпал: это

заняло бы целые тома (при условии, что такие темы вообще «исчерпываются»). Но я к этому и не стремился. Я ставил себе целью понять, нет ли моей вины в том, что в математической среде возникло известное настроение умов — «дух», который теперь ко мне временами приносит ветер издалека — и если да, то как именно. Ответ на этот вопрос я нашел, и доволен. Заманчивая идея — пойти дальше по этой дороге, углубиться в неизведанное, порой лишь намеком затронутое в разговоре. На свете столько всего интересного: смотри, открывай, твори! Что же до моего прошлого как математика — мне кажется, я сделал все, что *должен* был сделать, чтобы его принять.

Конечно, углубившись в размышление о прошлом, я узнал бы немало интересного и о своем настоящем. В ходе этой работы я и так замечал почти на каждом шагу, до какой степени я все еще связан с прошлым. Я и не подозревал до тех пор, как мне важно, что я тогда собой представлял и какими были мои отношения с другими людьми — в особенности, с теми, с кем я так или иначе расстался. Несомненно, разобравшись в этом, я стал воспринимать свое прошлое по-новому: более отстраненно и как-то легче, быть может. Будущее покажет. Но не исключено, что связь сохранится, пока не догорит сама собою моя страсть к математике — до тех пор, пока я не оставлю своих занятий. Доведется ли мне пережить эту страсть? К чему гадать: меня это не заботит.

Одно время (больше десяти лет кряду) я думал, что эта страсть и впрямь утихла во мне. Вернее, я *объявил* сам себе, что ее больше нет. Но в тот день, когда я все же решил ненадолго отложить дела, чтобы продумать кое-что в математике, целый мир открылся мне заново! Три или четыре года после этого я был слишком поглощен другими делами, так что моя старинная страсть, вероятно, не находила лазейки, чтобы ко мне пробраться. То были годы, когда я учился много и напряженно — а все же знания, которые я получал тогда, были неглубоки. Позднее страсть к математике стала возвращаться ко мне наплывами, всякий раз тогда, когда я меньше всего ее ожидал. Приходя, она держалась по несколько недель, иногда месяцев; я же, со своей стороны, упорно не желал понять, что же со мной происходит. Ведь я решил раз и навсегда, что любовь к математике — вещь пустая, ни на что не годная, что отныне я перешагнул через нее и в прошлое нет возврата! Однако, эта «пустая, ни на что не годная» вещичка, кажется, не расслышала моего приговора, да и я сам, похоже, сделался туг на ухо и не всегда внимал его суровому голосу.

В 1976 году я открыл для себя медитацию, и в моей жизни появилась

новая страсть. Как раз тогда же — казалось бы, парадокс — приливы моей прежней страсти заметно усилились. Математика выплескивалась в мою жизнь резко и неудержимо, как если бы где-то внутри, под давлением пара, прорывало котел. Но я старался не думать об этом. И лишь пятью годами позже, под влиянием определенных событий, я решил разобраться в том, что же со мною происходит. Никогда до тех пор я не размышлял так долго над четко очерченным, с виду не таким уж глубоким вопросом: медитация продолжалась шесть месяцев кряду. То был труд упорный и напряженный, я чувствовал, что мне предстоит исследовать гораздо больше, чем можно было ожидать с первого взгляда. Подводная часть айсберга оказалась огромной — а ведь я взялся (и то, чуть ли не против воли) изучать его лишь тогда, когда его верхушка чересчур разрослась и стала докучливо маячить на горизонте. Пришлось признать, что *конфликт* налицо: все как будто свидетельствовало о том, что две силы, два стремления — к медитации и к математике — в моей душе спорят между собой.

В ходе этой медитации, шаг за шагом, картина для меня прояснялась. Я понял, что страсть к математике, которой я пренебрегал, и страсть к медитации, которой я шел навстречу с открытым сердцем, были, по сути, одним и тем же — желанием ребенка. Пренебрежение, скромная гордость достигнутым, — все это идет от хозяина, от большого начальника, и никогда — от ребенка! Желания ребенка час от часу, день ото дня сменяют друг друга, как движения в танце: одно дает начало другому. Такова их природа. Они ладят между собою, как куплеты в песне, как в фуге — противостоящие друг другу голоса. Плох тот дирижер, который объявит одну тему «дурной», а другую — «хорошей», творя раздор там, где должна быть гармония.

После этой медитации хозяин присмирел, и охоты совать нос не в свое дело у него поубавилось. На сей раз работа оказалась долгой, хоть я и думал, что она займет всего несколько дней. «Результат» явился, как очевидность — короткая фраза в несколько слов⁽³⁷⁾. Но если бы те же слова я услышал со стороны, от какого-нибудь проницательного советчика, до того как завершилась работа, мне бы это несколько не помогло. Если мне пришлось трудиться так долго, значит, внутреннее сопротивление на этот раз было особенно сильным и поднималось из глубины. Хозяин, впрочем, был всем этим сыт по горло и не подавал голоса — дело происходило в такой обстановке, что у него просто не было возможности вмешаться. Я убежден, что эти шесть месяцев потратил не даром, и экономить время здесь было не на чем. Выносить плод требует и сил,

и труда; может ли женщина сберечь хоть один месяц из девяти, перед тем как произвести на свет такую «очевидную» вещь, как мальчишка?

44. Скоро будет полтора года, как я не занимался медитацией — разве что однажды в декабре несколько часов размышлял над вопросом, потребовавшим срочного разрешения. И вот уже год я отдаю математике почти все свое время и силы. Эта математическая «волна» пришла, как вообще приходят волны: захлестнула, ворвавшись без стука. Волны математики и медитации всегда являются ко мне неожиданными — если они и пытались меня предупредить, я ни разу их не услышал! Хозяин, похоже, втайне отдает предпочтение медитации: всякий раз, когда приходит эта волна, мне кажется, что это окончательно, навсегда; когда же ее сменяет волна математики, я ожидаю ее отлива через несколько дней. Но она, бывает, держится месяцы, а то и годы — как знать заранее? Правда, хозяин, наконец, понял, что он здесь ничего не решает, и что тщетные попытки задать ритм непослушной стихии не принесут ему выгоды.

Но не изменил ли хозяин своей привязанности? Ведь уже почти год, как решено и записано, что я «возвращаюсь в математику» по крайней мере на несколько лет. И решено, так сказать, официально: я даже подал заявление на должность сотрудника в CNRS! Более важно и совершенно неожиданно для меня то, что я снова стал думать о публикации своих работ. Даже после медитации 1981 года, о которой я только что говорил, мне, хоть я и перестал смотреть на математику, как на бедную родственницу, и в голову не пришло бы послать что-нибудь в печать. Разве что книгу о медитации, или о мечте и Мечтателе, занимавшим тогда все мои мысли? Но я был слишком занят размышлениями, чтобы еще браться за книгу. Да и зачем?

Итак, это было довольно важное решение, определившее ход моей жизни на ближайшие годы. Я принял его как-то незаметно для себя, не могу сказать толком, как и когда именно. В один прекрасный день, когда у меня накопилась изрядная стопка машинописных заметок (позвольте, позвольте: до тех пор я всегда записывал свои мысли о математике от руки...⁽³⁸⁾) о стэках, гомотопических моделях и проч., вдруг оказалось, что это дело решенное: будем публиковать! А если уж браться за дело, то от души: стало быть, я начинаю небольшую серию математических раздумий. Название готово, остается лишь вывести прописными буквами: «Размышления о математике»! По крайней мере, так мне это вспоминается сейчас — как всегда, сквозь туман. И вспоминается на

сей раз немного, нельзя не признать. Но вот что примечательно: в тот момент, когда я принимал решение вернуться в математику, я даже не остановился, не призадумался, куда я иду, что меня ведет и влечет — кажется, стоило лишь *взглянуть*... Пожалуй, мне хотелось бы сделать это сейчас, пока эта медитация, явившись неожиданно для меня, не подошла к концу: тогда я буду уверен, что она в самом деле завершена.

Вот вопрос, который сразу приходит на ум: о чем свидетельствует эта «примечательная» небрежность с моей стороны? Что это — «деликатность» хозяина, который ни за что на свете не желает нарушить (пускай одним лишь нескромным взглядом) естественный ход событий, ибо ему нет в том нужды и проч.? Или же это, напротив, знак того, что хозяин решился грубо вмешаться и повернуть дело в пользу математики? Быть может, его «личные пристрастия» на сей раз качнулись в другую сторону?

Стоит лишь черным по белому записать вопрос, как ответ приходит сам собой! Конечно же, это не мальчишка: тот, увлекшись игрой (которая, быть может, окажется длиннее других), не станет назначать себе время — играю, дескать, столько-то лет без передышки — и благо-разумно рассчитывать, сколько страниц остается написать, чтобы вышло приличное собрание томов под крупным, внушительным заголовком! Это хозяин: он все организует и все предусматривает; мальчишка его просто послушался. Быть может, он большего и не попросит, тут не скажешь заранее — да это и неважно. Ведь желания мальчишки во многом зависят от *обстоятельств*, а их определяет прежде всего хозяин.

Итак, ясно, что выбор сделал хозяин. Впрочем, сейчас он проявляет некоторую мягкость: вот уже больше месяца эта медитация продолжается у него под носом, и он смотрит на нее вполне благосклонно. Правда, его доброжелательность отнюдь не бескорыстна: медитация принесла ему вполне ощутимый доход. Ее результат, записки, которые я сейчас составляю, станут отличным краеугольным камнем для башни, которую уже возводит для него работник-ребенок. Обтесывая, изящно шлифуя камни, мальчишка явно не унывает. Но что до хозяина, то его, похоже, слишком рано хвалить за «мягкость»! Несколько часов медитации три месяца тому назад и больше ничего — за полтора года! Пожалуй, это даже скуповато.

Однако, мне не кажется, что все это время я подавлял в себе стремление к медитации, что оно не находило себе выхода. Тогда, в декабре, мне хватило этих нескольких часов, чтобы получить ответ на свои вопросы и увидеть все, что нужно было увидеть. Ситуация прояснилась и

уже тем самым стала иной. Возвратившись после этого к математике, я не бросил другого дела на полпути. Вспыхнул ли снова в моей душе, разрешенный было два года назад конфликт между «моей прежней и новой страстью» (только на этот раз они поменялись местами)? Думаю, что нет. Хозяин вправе иметь пристрастия, так он устроен — глуп тот, кто попытался бы ему это запретить (хотя кое-кто способен и не на такую нелепость...). Несправедливость хозяина — еще не признак конфликта, хотя нередко его причина. В моем случае, все тщательно взвесив, я уж готов простить хозяину недостаток мягкости.

Итак, остается последний вопрос: о «побуждениях» хозяина. Зачем ему понадобилось так резко переменить курс? Это произошло на удивление незаметно, но результат, если присмотреться поближе, ошеломляет.

45. Это немедленно возвращает меня к медитации, которую я начал в июле и закончил в декабре 1981 года. В предшествовавшие ей четыре месяца я бредил, и бредил неистово, одной лишь математикой. Из этого состояния, слегка безумного (впрочем, весьма плодотворного с точки зрения математики ⁽³⁹⁾), меня вывел приснившийся мне одной декабрьской ночью удивительный сон. Он был, как рассказ, как притча о том, что тогда происходило в моей жизни — притча о математическом неистовстве. Он произвел на меня невероятное впечатление: поток образов вливался в душу с какой-то яростной, неудержимой силой. Мораль притчи явилась в конце с ослепительной ясностью. Мне, однако же, пришлось провести два дня в напряженной работе, чтобы понять и принять ее очевидный смысл ⁽⁴⁰⁾. После этого я уже знал, что я должен был сделать. За все шесть месяцев работы я к этому сну больше не возвращался. И все же, по сути, все это время я занимался лишь тем, что старался полнее охватить его смысл, усвоить его и им проникнуться. В первые дни после того, как этот сон мне приснился, я мог истолковать его лишь в общих чертах — грубо, поверхностно. Мне предстояло прежде всего разобраться в том, как я сам — то есть хозяин во мне — воспринимал каждое из своих двух стремлений (к медитации и к математике), как мне тогда казалось, противостоявших друг другу.

Столько всего в моей жизни произошло с тех времен, что та медитация вспоминается мне, как событие далекого прошлого. Конечно, тогда, размышляя о причинах, побудивших хозяина принять то или иное решение, я многое понял. Если попытаться передать словами то, что осталось у меня в памяти, получится вот что: все двенадцать лет, истекших с мо-

мента моего «первого пробуждения» (в 1970 году) хозяин явно «ставил не на ту лошадь». *Выбирая между математикой и медитацией* (на которые он предпочитал смотреть, как на соперниц), *он остановился на медитации.*

Это не совсем точно: ведь медитация вошла в мою жизнь лишь в октябре 1976 года. Тогда же я подобрал для нее верное слово: до тех пор мои размышления носили несколько иной характер, и нельзя было сказать, что я именно «медитировал». Как бы то ни было, в 1970 году я увидел, как мало соответствует действительности мое представление о себе самом — образ, которым я дорожил — и пересмотрел его, а точнее, перерисовал заново. И в этом смысле медитация, шестью годами позже, явилась весьма кстати. Ее неожиданная вспышка по контрасту отделила нечто в моем характере (подробно исследовать это свойство я сумел лишь позднее, как раз в 1981 году). Речь идет о некоей установке, или позе, к тому моменту отнюдь не новообретенной. Тогда я назвал ее «синдромом учителя». Некоторые говорили мне о ней (и не без причины), как о «позе Гуру». Если я предпочел первое название второму, то, без сомнения, именно потому, что оно позволяло мне надежнее скрывать от себя самого сущность явления — так мне было спокойнее. Учить мне действительно нравилось всегда, с самого раннего детства; при этом, естественно, учиться сам я любил не меньше, и никакой позы в этом не было. На том же основывались мои отношения с учениками: пусть поверхностные, они все же были прочными и здоровыми, в них не было позы. Но после 1970 года математический мир, такой знакомый и привычный, отошел для меня далеко в сторону и только что не пропал за горизонтом. Вместе с ним исчезла и возможность «преподавать», то есть передавать знания, в которых я сам видел бы смысл и ценность. Тогда «хозяин» постарался выгадать и на этом: вместо того чтобы преподавать математику (толку в ней немного — разве что заработать на жизнь), я, как мне теперь и подобает в моем духовном величии, буду учить людей своим мудрым примером. Разумеется, мне хватало осторожности, чтобы ни себе, ни другим не говорить этого прямо. Когда мне говорили об этом другие, я, конечно же, им не верил: такое непонимание со стороны друзей и близких меня искренне огорчало. В самом деле, сколько можно им объяснять, они не желают ничего слышать — и откуда только берутся такие бестолковые ученики!

Одна или две книги Кришнамурти, которые я прочел тогда же, произвели на меня сильное впечатление. Я не замедлил перенять и усвоить (не сердцем, но рассудком) определенные истины и ценности ⁽⁴¹⁾. По-

сле этого я вообразил, что знаю все на свете (хотя, конечно, сам себе в этом не признавался). Читать его книги и дальше мне не было необходимости: я сам научился говорить и писать языком Кришнамурти — гладко, последовательно, на любую тему. Речи мои текли плавно, но пользы от них не было ни мне, ни другим. Это продолжалось годами, но я ничего не замечал, как нарочно. С открытием медитации мой язык быстро и совершенно очистился от наносного жаргона. Тогда я понял, чем настоящее знание отличается от красивых, пустых речей.

Большой начальник спохватился мгновенно: Кришнамурти уходит со сцены — вперед, медитация! Само собой, теперь ему приходилось играть осторожнее, брать не силой, но хитростью и сноровкой. Времена изменились, мальчишка начал отбиваться от рук и стал что-то слишком остер на глаза. Надо думать, в момент хозяйского выбора он отвлекся и не заметил уловки. Как бы то ни было, он понял, что его снова заключили в заколдованный круг, лишь пять лет спустя: внутренние противоречия накалились, взорвался какой-то котел, и работник срочно побежал взглянуть, в чем дело.

Произошло это, в конце концов, не так уж давно, чуть больше, чем два года назад. Гуру (который делал вид, что это не он) все же вывели на чистую воду, хитрые фокусы с переодеванием и чужими масками были разоблачены. Бедный хозяин остался голым. Иначе говоря, лошадь «Медитация», занявшая место своей безымянной товарки (не назвать же ее «Кришнамуртией», в самом деле!), в среднем приносила смехотворно малый доход. Куда уж ей было сравниться с резвой «Математикой» (из тех далеких времен, когда она была любимицей хозяина)! Хозяин же, видя это, еще долгое время оставался верен своему выбору, предпочитая медитацию — чисто по инерции. Ведь в 1970 году, когда он в первый раз менял свои ставки, его принудили к этому чрезвычайные обстоятельства, с которыми решительно было не совладать ⁽⁴²⁾. Хозяева вообще не любят резких перемен, и уж во всяком случае предпочитают не отступать на прежние позиции.

Начиная с 1973 года, когда я удалился в деревню, доходы от новой лошади (по сравнению с прежней) сделались уж совсем скудными. Медитация, неожиданно вступив в игру три года спустя, немного поправила положение. Был даже момент головокружительного подъема в июле 1979 года (здесь я не стану долго задерживаться на этой истории). Тогда я снова облачился в ризы проповедника: на сей раз я готовился нести людям некую мудрость, новую — и старую, как мир. Я воспел ее в стихах, которые собрался было нести в печать, но под конец все же раздумал

(⁴³). Но прошло два года; Гуру уже явно никуда не годился, и хозяин снова начал бедствовать: доходы шли резко вниз, а лошадка, видимо, подвернула ногу. Ловкость тут не поможет: хоть на голову становись, а Гуру тебе уже не сыграть!

После этого перемены уже не заставили себя ждать. Кобыла о трех ногах заодно с поэтом-проповедником, Гуру-не-Гуру и Кришнамурти-который-не-смеет-открыть-свое-имя отправляются на покой. И — ура Математике!

Интересно, что будет дальше...

46. Мне пришлось на два дня отложить записки. Вернувшись к ним, я все внимательно перечел и думаю, что предложенный в них сценарий более или менее соответствует действительности. Однако кое что здесь следует уточнить. Было бы полезно сравнить достоинства обеих «лошадок» (медитации и математики) и попытаться понять, какие же конкретно события или обстоятельства вынудили хозяина «скачком» переменить ставки. Ведь преодолеть инерцию духа, стремящуюся к бесконечному (пускай и губительному) однообразию, ему заведомо было непросто.

Неплохо было бы разобраться и в том, чего хочет сам мальчишка. Сейчас уже ясно, что ему, в общем, не сидится на месте: он любит менять игры время от времени. И хозяин, кажется, наконец стал умнее: он понимает, что нужно иногда уступать, и больше не принуждает ребенка-работника без конца играть в одну и ту же игру. В последние годы он научился считаться с мальчишкой, давать ему волю, прислушиваться к нему, не дожидаясь, когда взорвутся котлы. Это не дружба, но и не война — скорее, что-то вроде полюбовного соглашения. В мастерской улучшился «климат»: если и соберутся кое-где тучи, то ветер развеет их до грозы.

Мальчишка, если его не слишком притеснять, становится податливей. (Хозяин не таков: он лишь на старости лет сделался немного мягче, да и то поневоле...) Выбирая игру, он готов уступить хозяину — но это не значит, что у него нет любимой игры. Мечтает он, как правило, о чем-то одном.

Зачастую не так уж легко отличить желания мальчишки от хозяйских пристрастий (не говоря уже о том, что хозяин и сам далеко не всегда следует зову своих пристрастий: иногда он, в силу природной инертности, просто решает раз и навсегда на чем-либо остановиться). Когда я говорил себе: медитация лучше математики, она важнее, серьез-